

Остаток вечера мы провели у Алэна и его бывшей жены Жаклин, за обсуждением ситуации и разговорами о том, что еще можно было бы предпринять. Кроме того, мы немного лучше познакомились, кое-что узнав друг о друге. Ни тогда, ни после я не попытался соотнести эту историю с моими воспоминаниями о прошлом. И все же, в тот день я понял без слов, что той среды, того мира, который я знал и любил, больше не существует. Живое тепло родного воздуха, которое я надеялся обрести вновь, унесло ветром — много лет тому, так что потерялся и след...

Это открытие, однако, не принесло мне душевного покоя. Год за годом ко мне долетают все более резкие отголоски событий из того мира, откуда исчезло человеческое тепло. Иногда эти далекие вести по-прежнему ошеломляют меня, отдаются сердечной болью. В этом смысле размышление едва ли сможет что-нибудь изменить — разве только я пойму, наконец, что нет смысла скрывать чувство обиды и горечи от себя самого...

25. «Обзор» моих отношений с коллегами внутри нашего математического мира еще не завершен. Для полноты картины мне осталось прежде всего исследовать свои отношения с учениками в те времена, когда я сам ощущал себя частью пресловутого «математического сообщества». Мои ученики работали под моим руководством; ученики моих коллег, естественно, смотрели на меня, как на «старшего». Об этом тоже следует поговорить.

Взаимное уважение в моих отношениях с учениками всегда стояло на первом месте; это, пожалуй, я мог бы утверждать без оговорок. Эту установку я сам в свое время получил от старших; смею сказать, что годы ее не расшатали. У меня была репутация человека, который занимается «сложной» математикой (оценка, нельзя не отметить, весьма субъективная!). Еще говорили, что я требовательнее других (что уже не так субъективно). Поэтому студенты, приходившие ко мне, заранее знали, на что идут: работа их увлекала по-настоящему. У меня был всего один ученик, который поначалу вел себя несколько «развязно» — я даже не был уверен, что он сможет включиться в работу. Но прошло немного времени, и он взялся за ум без какого-либо «нажима» с моей стороны.

Насколько я помню, я никогда не отказывал тем, кто хотел поступить ко мне в ученики. У меня было два случая, когда я принимал человека — и по прошествии нескольких недель становилось ясно, что мой стиль работы ему не подходит. Откровенно говоря, сейчас мне кажется, что

в обоих случаях сыграл роль какой-то психологический барьер: по его вине мы не сумели договориться, и связь «учитель-ученик» так и не установилась. Я же в тот момент заключил, слишком поспешно, что у этих молодых людей просто нет способностей к математике. (Конечно, случись все это сейчас, я был бы намного осторожнее в своих суждениях.) Я не замедлил изложить свою точку зрения обоим студентам и тогда же посоветовал им выбрать другую профессию: математика, на мой взгляд, не соответствовала их природным склонностям. Теперь я знаю, что был неправ: один из этих молодых людей все же стал математиком и достиг известности, работая над сложными задачами на границе алгебраической геометрии и теории чисел. Что случилось с другой ученицей, молодой девушкой, мне неизвестно. Не исключено, что я был чересчур категоричен, и после нашего разговора она потеряла уверенность в своих силах (в то время как она, вероятно, могла бы заниматься математикой не менее успешно, чем ее товарищ). Мне кажется, я ошибся не потому, что с самого начала не поверил в их способности и желание работать — совсем нет: я доверял им не меньше, чем остальным ученикам. Я просто не понял тогда, что имею дело с проблемой чисто психологического толка: мне не хватало дальновидности ⁽¹⁸⁾.

Считая с начала шестидесятых (то есть, всего за десять лет) под моим руководством защитилось одиннадцать человек ⁽¹⁹⁾. Тему для диссертации мои ученики выбирали сами. Все они работали с большим подъемом; казалось, каждый из них душою срастался с избранной темой.

Впрочем, здесь было одно исключение. Один из моих учеников выбрал себе тему, по-видимому, без настоящего убеждения. Работу, за которую он взялся, «кто-то должен был сделать»; однако, в известном смысле, она была довольно неблагодарной. Она состояла в технической обработке уже готовых идей; сложные, даже сухие вычисления — на этой дороге не было неожиданностей ⁽²⁰⁾. Передо мной тогда лежала обширная программа, занимавшая все мои мысли. Для того чтобы ее осуществить, я нуждался в помощниках. Предлагая своему ученику тему для диссертации, я не подумал о том, что по характеру она ему совсем не подходила. Вероятно, молодой человек, со своей стороны, не вполне отдавал себе отчет в том, что за работа ему предстоит. Как бы то ни было, ни он, ни я не успели вовремя заметить, что он выбрал не ту дорогу. Ему, конечно, следовало бы вернуться к перекрестку и попробовать заново.

Работа явно была ему не в радость. С тех пор как он за нее взялся, у него всегда был какой-то сумрачный, невеселый вид. Я же за своими «насушными» математическими заботами, кажется, давно уже не обра-

щал внимания на подобные вещи. И напрасно: в математике, да и в чем угодно, самый ход работы во многом определяется настроением. Я следил за его работой: досадовал на задержки и облегченно вздыхал, когда дело налаживалось. Этим моя роль ограничивалась. Когда задуманная программа была, наконец, осуществлена, я больше не беспокоился по этому поводу.

Прошли годы, он стал солидным профессором — кажется, в те благословенные времена все, кому не лень, выходили в профессора! Как-то раз мне довелось обменяться с ним несколькими письмами. И лишь тогда, спустя годы после моего пресловутого «пробуждения», мне вдруг пришло в голову, что с этим учеником у меня что-то не сложилось: пропало ощущение полного успеха от нашей совместной работы. Теперь же, по зрелом размышлении, она представляется мне полным провалом, несмотря на «культурно» (отнюдь не «халтурно») отлаженную программу, солидный диплом и важную должность моего бывшего ученика. На мне лежит немалая доля ответственности за эту неудачу. Ведь это я в свое время заботился о том, как бы поскорее осуществить свою программу, больше, чем о живом человеке — а значит, я обманул его доверие. И так, мое хваленое «уважение без оговорок» (будто бы лежавшее в основе моих отношений с учениками) оказалось поверхностным. Настоящее уважение идет от теплого, сердечного внимания к нуждам конкретного человека. А что от меня зависело в данном случае? Простая вещь: помочь ученику выбрать такую тему, чтобы ему радостно было над ней работать. Иначе труд теряет смысл, становится принудительным.

Как-то раз, на этих самых страницах, я заговорил о «мире, лишенном любви». В свое время я отверг его с таким негодованием — по праву ли? Ведь я и сам когда-то был частью этого мира, в котором сегодня всюду хозяйничает ветер презрения. Не занес ли он и в мою душу семян с неблагоприятной земли? Если так, они давно уже проросли... Похоже, только что я набрел на один из этих ростков — и достаточно зрелый. Какие всходы дадут его семена в душе моего ближнего, я судить не берусь. С таким же «уважением», обделенным настоящей любовью, я относился к собственным детям — и тут я уже мог видеть своими глазами, как эти семена прорастали, набирали силу, приносили плоды. И, размышляя, я начинал понимать, как это нелепо — ворчать и воротить нос от горького урожая...

26. Если не считать случая с этим учеником (безусловно, ничуть не менее «одаренным», чем другие), то можно с уверенностью сказать, что

мои отношения с учениками всегда были искренно дружескими, зачастую даже сердечными. Волею обстоятельств, все они научились терпеливо сносить два моих основных недостатка как «научного руководителя». Во-первых, у меня был (и есть) отвратительный почерк; впрочем, кажется, все мои ученики мало-помалу научились его расшифровывать. Во-вторых, что гораздо важнее, мне всегда было очень нелегко следить за мыслью собеседника — я должен был сперва перевести ее на язык своих собственных образов, а затем «передумать» заново, на свой лад. Очевидно, что-то во мне противилось непосредственному восприятию чужой идеи — свойство, которое я сам в себе заметил далеко не сразу.

Я был слишком захвачен стремлением передать ученикам определенное видение математики, занимавшее тогда все мои мысли. Из-за этого я уделял намного меньше внимания тому, чтобы помочь ученикам в развитии их собственного видения (вероятно, во многом разнившегося с моим). В отношениях с учениками я и по сей день не избавился от этой привычки — но теперь, когда я стал принимать ее в расчет, она, как мне кажется, причиняет меньше вреда. Не исключено, что от рождения (или просто по жизни) я лучше приспособлен к уединенному труду (первые пятнадцать лет, то есть примерно с 1945 по 1960 гг. я занимался математикой в одиночку), чем к работе с учениками, у которых личный подход к математике, свои склонности и предпочтения только начали складываться⁽²¹⁾. Однако правда и то, что учить мне нравилось с самого раннего детства. С начала шестидесятых и вплоть до этого самого дня, ученики, приходившие ко мне, всегда занимали важное место в моей жизни. По одному этому можно судить, что преподавательская деятельность, и моя собственная роль как учителя, весьма немало для меня значат⁽²²⁾.

В моих отношениях с учениками «до 70-го» я не помню ни одной открытой ссоры — бывали, конечно, мимолетные охлаждения, но не более того. Как-то раз мне пришлось предупредить одного из учеников, что он, на мой взгляд, недостаточно серьезно относится к работе. Я сказал ему, что если так будет продолжаться, я вынужден буду от него отказаться. Само собой, он не хуже меня понимал, о чем идет речь. Он учел мою просьбу, взялся за дело — и инцидент, что называется, был исчерпан. Другой случай относится уже к началу семидесятых, когда мои мысли в основном занимала работа в группе «Survivre et Vivre», а математика отошла для меня на второй план. Один молодой человек, закончив свою работу под моим руководством, как и положено, передал мне текст диссертации. Я написал отзыв и, по своему обыкновению, по-

казал его автору работы. Просмотрев мои записи, он пришел в ярость. Он решил, что некоторые из моих оценок ставят под сомнение качество его работы (чего я, конечно же, не мог иметь в виду). На сей раз уступил я, и не задумываясь. У меня не было, ощущения, что он с тех пор затаил на меня обиду, но не исключено, что я ошибался. Мы, впрочем, никогда не дружили с ним так, как с другими учениками: у нас были хорошие рабочие отношения, и ничего больше. Но все же мне было странно, что он счел мои замечания настолько нелестными — и не думаю, чтобы я включил их в свой отзыв от недостатка доброжелательности. Тогда же, в разговоре, он упомянул имя одного из своих товарищей (который к тому моменту уже защитился под моим руководством). Он сказал, что я в свое время уже написал несправедливый отзыв на диссертацию его друга; он, дескать, «не допустит», чтобы с ним обошлись так же. Но как раз с тем учеником, человеком дружелюбным и чувствительным по натуре, меня связывали самые теплые отношения. Если я и включил в свой отзыв о его работе соображения, позднее так возмутившие его товарища, то уж во всяком случае не от недостатка доброжелательности! И, конечно, я никому из своих учеников не открыл бы «зеленой улицы» к защите диссертации, если бы не был вполне удовлетворен представленной мне работой. Герои этого маленького рассказа — не исключение. Тут можно добавить, что все мои ученики того периода после защиты легко устраивались на работу. Действительно, каждый из них тогда очень быстро нашел место по себе.

Вплоть до 1970 года я, по сути, не занимался ничем, кроме математики, и почти все свободное время проводил в работе с учениками (^{22'}). Когда подступала необходимость (или когда это просто могло оказаться полезным), я проводил с тем или иным из них целые дни — мы обсуждали вопросы, еще не разрешенные до конца в его диссертации, или же вместе работали над ее оформлением. В эти периоды напряженной совместной работы я никогда не чувствовал себя «руководителем», заправляющим делом и в одиночку принимающим решения. Напротив, мы трудились сообща, на равных правах, и обсуждения велись до тех пор, пока каждый из нас не оставался вполне удовлетворен результатом. При этом ученик, конечно, выкладывался намного больше, чем я — зато я был опытней, и математическое чутье, которое я успел развить в себе за эти годы, подчас приносило немалую пользу.

Однако то, что мне кажется важнее всего с точки зрения качества научной работы, да и вообще любого исследования, совсем не связано с опытом. Это — *требовательность к себе*. Речь идет не о том, чтобы

тщательно следовать каким-либо общепринятым правилам. Скорее, эта требовательность заключается в напряженном *внимании* к чему-то тонкому, хрупкому, заложенному внутри нас — к чему-то, что не опишешь набором правил, не измеришь заранее заданной мерой. Степень нашего понимания ситуации, проникновения в суть того, что мы исследуем — вот что это такое. Итак, речь идет о внимании к *качеству понимания* — меняясь по ходу дела, оно все же присутствует каждую минуту. Пробиваясь незаметным ростком сквозь исходные нагромождения разнородных понятий, утверждений, предположений, так что в общей какофонии едва слышна его робкая тема, оно, шаг за шагом, приводит нас к полной ясности, к безупречной гармонии. Многомерность, глубина исследования (при этом неважно, стремимся ли мы достичь полного или частичного понимания ситуации), определяется тем, насколько живо и неослабно в нас это внимание. И в этом смысле нельзя принудить себя быть внимательным, нарочно стараясь «быть начеку». Внимание приходит само собой, рождаясь от настоящей страсти к познанию, и никогда — от честолюбивых устремлений, от жажды наград.

Это внимание иногда называют «*строгостью*». Но тогда это строгость внутренняя, чуждая каким бы то ни было канонам, принятым в данный момент в рамках данной дисциплины. Если на страницах этой книги я позволяю себе достаточно вольно обходиться с правилами подобного рода в математике (хотя они, безусловно, полезны сами по себе — ведь я и сам много лет преподавал их студентам), то все же не думаю, что строгости в них меньше, чем в моих прежних работах, написанных в каноническом стиле. Если мне и удалось передать ученикам нечто более ценное, чем знание математического языка и приемов нашего ремесла, то это именно требовательность к себе (внимание, строгость). В жизни мне ее недоставало не меньше, чем любому другому, но в математике я, пожалуй, мог бы ею и поделиться⁽²³⁾. Спору нет, скромный подарок — а все-таки лучше, чем ничего.

27. Не думаю, чтобы студенты, которые хотели со мной работать, боялись меня или хотя бы «робели» в моем присутствии — не считая, быть может, тех двоих молодых людей, с которыми мы так и не сумели найти общий язык. Другое дело, что все они к тому моменту уже были со мной знакомы — например, видели меня на моем же семинаре в IHES. Если поначалу между нами и возникала некоторая неловкость, то она быстро исчезала в ходе работы. А впрочем, два исключения из этого правила я все-таки мог бы назвать. Один из моих учеников так и не

научился по-настоящему любить математику. Живого интереса к науке у него не было, на мои вопросы он отвечал только «да» и «нет» — даже во время нашей с ним совместной работы. Может быть, дело было еще и в том, что в ту пору я уже не мог работать с учениками так много, как раньше. Мы с ним не работали подолгу над отдельными «кусками» его программы, как это бывало раньше с другими учениками. И впрямь, я не припомню, чтобы я проводил с ним в обсуждениях целые дни или хотя бы вечера. Скорее, мы, как правило, встречались урывками, на два-три часа, чтобы обговорить тот или иной вопрос. Решительно, это не мне с ним, а ему со мной не повезло в тот момент!

Другой молодой математик, о котором я хочу рассказать, напротив, работал со мной в ту пору, когда времени у меня было более чем достаточно. Отношения между нами с первых же дней стали теплыми и сердечными. В каком-то смысле мы с ним даже «дружили семьями»: я часто навещал его, он заходил ко мне — у меня было несколько таких учеников. Впрочем, в такой дружбе всегда было что-то поверхностное. По сути, я ничего не знал о жизни своих учеников — точно так же, как я не знал, что происходит в моем собственном доме (разве что иногда чувствовал неладное). Конечно, я помнил имена их жен и детей (да и то иногда забывал, к своему ужасу!). Быть может, я тогда был слишком «зацикленным» даже для математика. Но мне думается, что и вообще среди моих знакомых математиков даже самые тесные, самые сердечные взаимоотношения, как правило (если не всегда), оставались поверхностными. Получалось, что люди почти ничего не знали друг о друге — а случайные догадки оставались неосознанными, недосказанными. Отчасти поэтому, без сомнения, мы и ссорились между собою так редко: раскол, поселившийся в наших душах, в наших домах и семьях, снаружи не проявлялся. Теперь-то мне ясно, что никого из моих друзей, а может быть, и вообще никого на свете, не миновала эта беда.

Тогда я не замечал ничего особенного в наших отношениях с этим молодым человеком: для меня он был одним из хороших друзей-учеников, вот и все. И лишь недавно я понял, что в действительности все было сложнее. Очевидно, он много лет сдерживал в себе какое-то раздражение, и в один прекрасный день оно вдруг выплеснулось наружу. Я совершенно не был к этому подготовлен. В самом деле, неожиданное открытие — через двадцать лет после того, как он, собственно, был моим учеником. И только тогда я догадался соотнести то, что происходило на моих глазах, с одним «незначительным обстоятельством», давно забытой мелочью. В ту пору, когда мы с ним более или менее регулярно встре-

чались и работали вместе, он достаточно долго (возможно, до самого конца — то есть несколько лет кряду) испытывал передо мной какую-то «робость». Ее всегда можно было узнать по безошибочным признакам. В ходе работы, впрочем, эти признаки довольно быстро исчезали. Замечая их, я, конечно, всегда чувствовал себя неловко и понимал, что его самого они смущают еще сильнее. Разумеется, мы все равно всякий раз продолжали беседу как ни в чем не бывало. Ни одному из нас не приходило в голову об этом заговорить — да что там, даже наедине с собой ни я, ни он (я уверен) не решались обратить внимание на это странное обстоятельство, а ведь оно явно заслуживало интереса! К этой, ничем не объяснимой, «робости» мы оба относились одинаково — как к обыкновенной «помехе», нелепости, не имеющей права на существование. Пресловутая «помеха», конечно, не упускала случая напомнить нам о себе при каждой встрече. Но она же имела приятное свойство исчезать, оставляя нас в покое всякий раз, когда речь заходила о серьезных вещах, то есть о математике. И мы сразу же с чистой совестью забывали о том, что, на наш взгляд, «не имело права на существование». Не помню, чтобы я хотя бы однажды задумался о причине этой «робости», о том, какую роль в наших взаимоотношениях играет эта «помеха». Я убежден, что тот мой друг и ученик, в свою очередь, также никогда (даже мысленно) не задавался подобными вопросами. Наше воспитание, все, что окружало нас с самого раннего детства, могло подсказать нам только один ответ на вопрос о том, как держать себя в подобной ситуации: если ты в разговоре испытываешь неловкость, ты должен *отстраниться* от нее, закрыть на нее глаза, не замечать ее до тех пор, пока чувство стесненности не исчезнет само собой. В нашем случае это оказалось возможным; более того, фокус удавался нам достаточно легко и ловко, что вполне устраивало нас обоих.

В последние два-три года мне не раз довелось убедиться в том, что неприятные вещи не перестают существовать только от того, что ты закрываешь на них глаза. Подтверждения оказались более чем реальны, и от них уже так запросто не отмахнешься, не отстранишься...

28. До своего первого «пробуждения» в 1970 я всегда думал о своих учениках, об отношениях с ними, вообще о своей работе, с чувством радости и удовлетворения. Это была одна из существенных, осязаемых, неопровержимых в своей реальности основ, на которых покоилось жившее во мне ощущение гармонии. Оно наполняло мою жизнь смыслом — а в моем доме тем временем бушевала настоящая стихия, охотясь за че-

ловеческим теплом, разрушая семейные связи. Но в своих отношениях с учениками, повторяю, я не замечал в то время ни малейшего намека на ссору. Там все было тихо; с тех времен я не припомню ни единого, пусть бы и мимолетного, укола разочарования или горечи. Может показаться странным, что конфликт (в моих отношениях с одним из учеников) всплыл на поверхность, сделавшись явным, как раз после моего пресловутого пробуждения. Ведь оно резко изменило мою жизнь, как бы раскрыло меня навстречу внешнему миру. Благодаря ему я стал мягче — и уступчивее, быть может; казалось бы, эти свойства помогают человеку избегать конфликта и разрешать споры.

Однако, присмотревшись, я обнаружил, что это противоречие — мнимое: вблизи оно исчезает, под каким углом к нему ни подойдешь. Первое же, что пришло мне в голову по этому поводу: для того, чтобы конфликт мог разрешиться, нужно, чтобы он сначала в чем-либо проявился — иначе как лечить скрытые болезни? Когда конфликт вынашивается где-то в глубине души, когда все вокруг стараются сделать вид, что его нет, это значит, что он втайне растет и ждет своего часа. Конфликт зреет, выходит на поверхность, становится открытым. Но и на предыдущей, скрытой, стадии он, в той или иной форме, не может не проявляться. И тогда его разрушительная деятельность еще эффективнее: ведь ее подчеркнута не замечают, ей не препятствуют. И еще: различия в социальном статусе, хотим мы того или нет, устанавливают между людьми определенную *дистанцию*. Для того чтобы конфликт мог проявиться в полной мере, необходимо, чтобы она исчезла или хотя бы уменьшилась. Как раз в этом направлении — уменьшения дистанции, выхода из изоляции — работали перемены, происходившие со мной в последние годы. «Пробуждения» приходят в мою жизнь непрерывной чередой вот уже почти пятнадцать лет кряду. И, конечно, одно дело — решиться выразить свое недовольство авторитетному научному руководителю, на которого смотришь снизу вверх, и совсем другое — выяснять отношения с человеком, уже оставившим (по своему выбору или силою обстоятельств) высокое положение в научном мире. Все изменилось: тот, кто являл собою чуть ли не воплощение некоей священной сущности (самой математики, как она есть), вдруг удалился от своего «высокородного», влиятельного окружения, снял регалии, осел в деревне. Из символа он постепенно становится просто человеком — таким же, как все. Его можно обидеть; броня авторитета, защищавшая его от ударов в прежние времена, понемногу тает и исчезает. Наконец, третье и самое главное: с точки зрения окружающих, с момента моего первого

пробуждения со мной происходило нечто непонятное. Я стал вести себя совсем иначе, чем раньше; мое поведение вызывало вопросы и, вероятно, будило дремавшее в потайном углу беспокойство. Это нарушало порядок в идеально обустроенной маленькой вселенной, где всем заправляли мои давние ученики. Я и сам не раз ощущал тогда возникавшую вокруг меня неловкость, причем не только среди учеников. Все это распространялось и на моих прежних товарищей, и даже на многих коллег, знавших меня не более чем понаслышке.

Надо сказать, что разрешить сколько-нибудь глубокий конфликт в жизни удается очень редко. Чаще всего, несмотря на все видимые перемирия, в глубине все остается по-старому. Свита застарелых ссор и конфликтов неотступно тянется за нами по пятам; надежда на отдых брезжит невеселым огоньком лишь в дверях похоронного бюро. Несколько раз мне удавалось в какой-то мере распутать сложные отношения — иногда даже исчерпать конфликт до конца. Но внутри математического мира ни с учениками, ни с прежними товарищами мне в этом смысле никогда не везло. Вполне вероятно, что так ничего и не разрешится, проживи я еще сто лет.

Уйдя из IHES, я тем самым как бы порвал со своим прошлым. Ведь именно в этом институте началась жизнь микрокосма, сформировавшегося вокруг меня в математике. Примечательно, что как раз на этот, важнейший для меня, момент моего разрыва с прошлым, пришелся первый случай открытого столкновения: давно зародившееся у одного из моих учеников раздражение (по отношению ко мне) вышло наружу. Конечно же, весь эпизод в целом оказался из-за этого еще горше, еще болезненней: как если бы тяжелые роды по стечению обстоятельств проходили в особенно трудных условиях. Я, захваченный врасплох, не понимал тогда смысла того, что происходило у меня на глазах; разумеется, сейчас события тех времен мне представляются в совершенно ином свете. Долгое время меня, в мыслях о прошлом, не покидал горький осадок — след той печальной неожиданности. И однако, не позднее, чем летом того же года, мой невеселый уход вдруг явился мне, как освобождение. Словно от небольшого толчка распахнулась настезь тяжелая дверь — и взгляду внезапно предстал новый, неожиданный мир, зовущий к открытию. И с тех пор каждое новое пробуждение несло мне, в свою очередь, и новое освобождение: вдруг обнаруживаешь в своей душе несброшенный балласт — еще одну стену, за которой ты не бывал, но которую можно сломать. А там — неизвестное, все это время скрывавшееся за ложной маской привычного, то есть чего-то, что на первый взгляд «и так ясно».

Но, как бы то ни было, огорчение остается огорчением. Конечно, мне как математику в отношениях с коллегами не раз и не два случалось переживать неприятные минуты. Но постоянный источник досады, неудовлетворенности, в моей жизни до сих пор только один — та сдержанная, любезная, непримиримая враждебность, вот уже пятнадцать лет неотступно следующая за мной по пятам (23'). Наверное, я мог бы назвать его платой за свое первое освобождение — и за все те, что позднее пришли вслед за ним. Но я слишком хорошо знаю, что зрелость и внутренняя свобода не достаются за плату; в графы «прихода» или «расхода» не вносятся такие слова. Иными словами: когда зерно созрело, и закончен сбор урожая, «расходов» и потерь не бывает. То, что казалось потерянным, оборачивается прибылью, идет в «приход» у тебя на глазах. Я же, как видно, еще не собрал своего урожая: дописывая эти самые строки, я чувствую, что солнце еще высоко, и работа не завершена.

29. Итак, 1970 годом для меня отмечен некий поворотный пункт в моей жизни. Ученики, которые начали приходить ко мне после этого «поворота», сильно отличались от тех, с кем я работал раньше. Да и сама среда провинциального университета была совсем не похожа на наше прежнее окружение. Всего двое студентов писали под моим руководством кандидатские диссертации. Остальные только писали курсовые работы или защищали дипломы. Следовало бы упомянуть здесь и тех студентов (их было довольно много), которые посещали мои «вводные курсы». На этих семинарах я старался дать слушателям представление о том, что такое научная работа. Получая возможность поразмыслить самостоятельно, без оглядки на учебники, студенты зачастую начинали задумываться над самыми неожиданными вопросами. Иногда им удавалось находить интересные, оригинальные методы их разрешения. Я заметил, что в факультативных мероприятиях — курсах, семинарах — активнее всего участвуют первокурсники. Напротив, студенты, уже проучившиеся несколько лет, под влиянием университетской обстановки утрачивают определенную свежесть восприятия. Их намного сложнее заинтересовать чем бы то ни было, они не любят смотреть на живые вещи своими глазами, предпочитая суррогаты из университетских пособий. Среди студентов, посещавших мои семинары, многие явно подавали надежды; они могли бы стать превосходными математиками. Ввиду общей обстановки в математическом мире я, однако, воздерживался от того, чтобы порекомендовать им эту дорогу — хотя их, похоже, влекло к математике, и не исключено, что они отличились бы на этом поприще.

Как правило, студенты приходили ко мне (на тот или иной факультативный семинар), чтобы подготовить диплом магистра. Тогда они обычно учились у меня не дольше года. Наши отношения, в целом, становились сердечными и непринужденными с первых же дней. Так у меня было и раньше с «официально признанными» учениками — всегда, если не считать одержимого навязчивой «робостью» молодого ученого, о котором я уже рассказал (^{23''}). Различие (далеко не единственное!) заключалось в том, что в Монпелье мое общение с учениками не всегда ограничивалось совместной научной работой. Как правило, мы с ними больше знали друг о друге и говорили уже не только о математике (^{23^v}). Благодаря этому и недомолвок между нами почти не оставалось: я помню открытые, даже бурные ссоры. Среди моих прежних учеников «до 70-го» было двое, у которых в какой-то момент явно проснулись враждебные чувства по отношению ко мне. Я ощущал это постоянно; ошибиться было невозможно. И все же их раздражение никогда не выплескивалось наружу: не исключено, что они скрывали его и от самих себя. Зато после семидесятого года, работая в Монпелье, я трижды столкнулся с подобным же неприятием со стороны моих новых учеников — причем в двух случаях из трех оно вылилось в откровенную, резкую ссору.

С одним из этих молодых людей мы перед тем долгое время дружили; разругался он со мною как-то вдруг, без предисловий. К тому моменту он уже давно не был моим учеником. Конечно, я сам своим поведением мог подать повод для ссоры — но подозреваю, что в действительности его подтолкнула к этому застарелая досада, разочарование, в свое время не нашедшее себе выхода. Ведь его работу (на мой взгляд, превосходную) приняли в математических кругах намного хуже, чем он, по справедливости, мог ожидать. Такова оборотная сторона сомнительной чести называться моим учеником «после 1970». В глубине души, сам того не осознавая, он, вероятно, винил меня в своих неудачах.

Разрыв с другим учеником, после полутора лет совместной работы (до тех пор как будто протекавшей в самой сердечной обстановке), также явился для меня неожиданностью. Я не помню больше ни одного случая, чтобы ученик поссорился со мной в то время, когда мы с ним еще работали вместе. Разумеется, после этого нам пришлось позабыть о математике — а ведь начинали мы, что называется, под счастливой звездой: тема была превосходная, работа так и горела в руках. Что-то подсказывает мне, что этот молодой ученый в глубине души был не уверен в себе (сам я в его силах несколько не сомневался). Быть может, он

и рассорился со мною лишь затем, чтобы оправдать в своих глазах будущие неудачи: беглец сорвался с места раньше преследователя, спасаясь от какого-то призрака — или от собственной тени. Я, как руководитель, возлагавший на него надежды, стал для него невыносимым. С ужасом ожидая провала, он поспешил заранее снять с себя ответственность за еще не случившуюся беду (23^{'''}).

За все последние двадцать пять лет конфликт, когда-либо возникавший между мной и моими учениками, неизменно пронизывала определенная *амбивалентность*. Раскол начинался исподтишка посреди явной взаимной симпатии и всегда давал о себе знать неожиданно, «задним числом». Я мог бы даже сказать, что и во время самой жестокой ссоры моя особа, внушая ученику враждебные чувства, по-прежнему сохраняла для него некую «притягательность». Однако, эта же притягивающая сила одновременно вызывала у него раздражение, постоянно подливая масла в огонь. Раздражение, недовольство, обида могут проявляться по-разному: бывает, человек резко, со злостью отвергает все, что, в его представлении, с тобою связано. Напротив, бывает и так, что, скрываясь за ширмой дружеского уважения, самое беззащитное пренебрежение нет-нет да ужалит тебя (лишь подвернись подходящий момент) ловким, тонко рассчитанным ходом. Но, как бы это ни выглядело снаружи, во всех моих раздорах с учениками присутствовала эта притягивающая и тем сильнее отталкивающая сила — странная внутренняя противоречивость.

Не то, чтобы я сталкивался с нею только в отношениях с учениками. Напротив, с некоторых пор она то и дело (в самых разнообразных ситуациях) давала о себе знать. После смерти моей матери, когда мне исполнилось тридцать лет, эта двойственность словно бы следовала за мной по пятам. Она не миновала моей супружеской жизни, она рождала противоречия в моих отношениях с людьми — прежде всего с теми, кто был заметно младше меня. И в конце концов я подметил в своем характере какую-то особую склонность к отеческой роли (врожденную ли, приобретенную ли, сказать не берусь). Из меня, должно быть, вышел бы идеальный приемный отец — во всяком случае, у меня есть все необходимые качества! Образ отца мне к лицу: он как нарочно по мне скроен и сшит. И сосчитать не берусь, сколько раз мне приходилось выступать в этой почтенной роли по отношению к младшим приятелям (которые отнюдь не возражали). Как правило, вслух мы не говорили об этом (и даже не отдавали себе отчета в том, как распределяются роли), но бывало и так, что новоиспеченные «отец» и «сын» (или «дочь») впрямую

признавали друг друга. А иногда я и не подозревал, что тот или иной молодой человек воспринимает меня, как «отца».

Впервые я заметил, что веду себя по отношению к одному из друзей, как приемный отец, в 1972 году, в эпоху «Survivre et Vivre». Тогда между нами (едва ли не на пустом месте) возникла ссора, и этот молодой человек неожиданно резко высказал мне свою неприязнь. (Забавное совпадение: учился он на математическом отделении, но потом «сбежал» из университета.) Какой-то из моих поступков (к нему прямого отношения не имевший) вывел его из себя. Я, пожалуй, легко допустил бы, что я был неправ, что мне и впрямь не хватило тогда душевной щедрости — но его бешеное негодование просто оглушило меня. Он словно бы взорвался, задыхаясь в безумной ненависти — впрочем, вспышка утихла сама собою, как только стало ясно, что поставить меня в тупик таким способом не удастся. (Честно говоря, в какой-то мере он все же сбил меня с толку, хоть я тогда и не подал виду...) И почему-то я сразу почувствовал, что дело было, по сути, совсем не во мне. Пустячная история так возмутила юношу именно потому, что он смотрел на нее в свете своих (по-видимому, непростых) отношений с отцом. Мой «образ» он попросту выдумал, и в своем воображении перенес на него свои прежние (еще детские, быть может) обиды, за которые я, конечно же, не мог отвечать. Впрочем, об этой внезапной догадке я вскорости позабыл и в дальнейшем все с той же беспечностью давал волю своим отеческим чувствам. И всякий раз, когда это приводило к ссоре (то скрытой, то явной), я, огорчаясь и недоумевая, не верил своим глазам.

Мне понадобилось шесть или семь месяцев уединенного размышления, чтобы добраться до сути этого вопроса и понять, в чем я тогда ошибался. Я думал о жизни моих родителей, и она под конец развернулась передо мной в неожиданном свете. Я понял, что, вступая в роль приемного отца для своего младшего друга, человек с неизбежностью себя обманывает. Ведь он тем самым берется (конечно же, из лучших побуждений!) заменить новоиспеченному «сыну» (или «дочери») его (или ее) природных родителей. То обстоятельство, что настоящий отец молодого человека жив, здоров и не нуждается в том, чтобы кто-либо со стороны его дублировал, — молча, по обоюдному соглашению, отодвигается куда-то на задний план. Но тогда у «приемного дитяти» появляется возможность перенести застарелый конфликт (со своим отцом, например) оттуда, где он возник в действительности, на свои отношения с кем-то посторонним (в данном случае, со мной).

Моя медитация продолжалась с августа 1979 года по март 1980-го.

Проведя все это время в размышлениях, я стал осторожнее, бдительнее по отношению к себе самому. Мне уже не хотелось бы снова, закрыв глаза, шагнуть в западню, вырытую моими отеческими инстинктами. Это совсем не означает, что недоразумений подобного рода на моем пути с тех пор не встречалось (достаточно вспомнить о том талантливом ученике, от которого мне пришлось отказаться). Но я сам, как мне кажется, больше не старался взять на себя эту роль, и в этом смысле никому не подыгрывал.

Если оставить в стороне историю с учеником, обманутым в своих законных надеждах, то можно с уверенностью сказать, что все мои ссоры с кем-либо из учеников, бывших или настоящих, разыгрывались по одному и тому же сценарию. Всякий раз, поднимаясь из глубин подсознания, пробуждался и вступал в действие один и тот же, знакомый всем архетип. Извечная война сына с Отцом — грозным и обожаемым, любимым и ненавистным — с Человеком, которого необходимо вызвать на бой, одолеть, вытеснить из жизни; унижить, быть может... Но Он же — тот самый, кем сыну втайне мечталось бы стать, отняв Его силу и присвоив себе. Отец — твое второе «Я», твой собственный грозный двойник; встретив в зеркале, отшатнешься, побежишь в страхе...

30. Едва ли крутой поворот в моей жизни, о котором я уже много раз упоминал на этих страницах, в свое время поднял бурю из ничего: пригнал грозные облака на идиллически ясное небо — и в одно мгновение восстановил против меня несколько бывших учеников. Скорее, то, что скопилось у них в душе против меня, благодаря событиям семидесятого года нашло себе выход. Нормы отношений «учитель — ученик» (или «бывший учитель — бывший ученик») у математиков заданы достаточно жестко, так что открытому раздору здесь просто нет места. Хотя конфликты подобного рода (между учеником и его научным руководителем), судя по всему, нередки в научной среде, все же они, как правило, протекают «скрыто» и остаются в тени. Зато выйдя за рамки привычных норм, я тут же испытал на себе всю силу долго копившегося раздражения, вылившегося на сей раз в открытую вражду.

Сейчас, вспоминая об этом, я не думаю, чтобы в те давние годы я старался быть «отцом» своим ученикам. Что касается *меня*, то все мои помыслы и побуждения, по сути, были связаны с математикой. Для меня взаимоотношения с учениками означали прежде всего совместную работу: все вместе, мы трудились над осуществлением одной обширной программы. В те годы я помню только один случай, чтобы ученик по-

человечески заинтересовал меня не меньше, чем наше с ним общее дело. Это было как родство душ; между нами сразу возникла дружеская привязанность — но свои чувства к нему я не назвал бы «отеческими». С другой стороны, о том, какое влияние я на него оказывал (да и вообще о том, как меня самого воспринимали ученики), мне никогда не приходило в голову поразмыслить (я и по сей день редко задумываюсь о подобных вещах). Спору нет, отношения учителя с учениками никогда не бывают «симметричными» — по крайней мере, во всем, что касается «ремесла» (а может быть, и вне этих рамок). «Мастер» занимает в жизни ученика совершенно особое место, так что силы, вступающие в игру с обеих сторон, просто нельзя сравнивать. В пяти-шести случаях, когда эти силы у моих (тогда уже бывших) учеников вылились в откровенную враждебность по отношению ко мне, я по крайней мере хоть в чем-то сумел разобраться. В остальном же, природа этих сил, как и вообще чувства, которые испытывают ко мне мои ученики, для меня и по сей день (несмотря на двадцатипятилетний опыт преподавания) — неразрешимая загадка. Впрочем, ключ к этой загадке предназначен им, а не мне: каждый из них может разрешить этот вопрос для себя, и никто другой им здесь не советчик. Другое дело, что если уж человеку придет в голову заглянуть в собственную душу, то он, без сомнения, обнаружит там куда более волнующие тайны, чем этот странный, далеко не насущный, вопрос о своих чувствах к бывшему наставнику... Как бы то ни было, даже если я сам не относился к своим ученикам «по-отечески», не исключено, что многие из них все же видели меня именно в этой роли. Во-первых, как я уже упоминал, роль приемного отца как нельзя лучше подходила мне по характеру; во-вторых, как говорится, положение дел располагало. Ведь я был для них, во всяком случае, старшим товарищем; у меня было больше опыта, и они должны были мне доверять.

Все это, без сомнения, придавало нашим отношениям с учениками особую окраску. В обычной жизни, вне математики, я довольно часто оказывался в роли «приемного отца». Иногда я делал это сознательно, в других случаях — сам того не замечая. При этом с «приемными детьми» меня с самого начала связывала лишь взаимная симпатия (и никак не узы родства). Что же до моих собственных детей, то они, конечно, сразу разбудили во мне отеческую жилку. С самого раннего детства они много для меня значили. По странной иронии судьбы ни один из них (а детей у меня пятеро) все еще не смирился с мыслью о том, что я — их отец. О жизни четверых из них, особенно в последние годы, я знаю достаточно много. Все это время часто думал о причинах нашего разлада. Какой-то

резкий надрыв в их отношении ко мне — несомненно, лишь отражение более глубокого душевного раскола, стремления перечеркнуть в себе все, что они могли получить от меня в наследство. Но его истоки — тема совсем других размышлений: ведь беда уходит своими корнями глубоко, в их беспокойное детство, и дальше — в детство их родителей, и дальше, и дальше: цепь продолжается... Этот раскол переиначил их жизнь; их дети, в свою очередь, получают его в наследство... Но наш разговор — о другом.

31. Кажется, я успел, по большому счету, поговорить обо всем, что касалось наших взаимоотношений с другими математиками, моими коллегами и учениками, внутри нашей общей среды. (Подразумевается, конечно, период с 1948 года по 1970-ый.) Для завершения «обзора» осталось вспомнить кое-какие подробности из моего опыта общения с начинающими математиками, которых еще нельзя было назвать «коллегами» в полном смысле этого слова, и чьей научной работой я не руководил. Таким образом, речь пойдет о тех молодых ученых, с которыми я встречался более или менее регулярно на своих семинарах — в IHES, в Гарварде или еще где-нибудь — а также о тех, кто по какой-либо причине вступал со мной в переписку. Например, тот или иной молодой автор мог послать мне свою работу в расчете на комментарии — и, конечно же, на слова поощрения.

Контакты подобного рода с начинающими учеными — составная часть одной из ролей — конечно, не самых заметных — распределяемых между участниками игры на математической (да и на всякой научной) сцене. Спору нет, роль научного руководителя выглядит намного ярче и значительнее со всех точек зрения. Но, как я стал понимать позднее, оценка старшего со стороны в известном смысле столь же важна. В ту пору я еще не отдавал себе отчета в том, что эта роль для видного математика несет в себе долю *власти*, с которой нельзя не считаться; я стал задумываться над этим не раньше, чем шесть-семь лет тому назад. Властью же, как водится, можно распорядиться по-разному. В первую очередь, в твоих руках — возможность *ободрить* человека, подогреть его энтузиазм, поднять творческий стимул. Этой возможностью старший располагает всегда: как в случае явно блестящей работы (которую, быть может, немного портят погрешности в оформлении или недостаток «мастерства» у молодого автора), так и просто при виде большого, основательного труда. Но и в том случае, когда работа молодого ученого представляет собой лишь весьма скромный вклад в науку — пускай

даже ничтожный, пусть и вообще никакой (с точки зрения зрелого математика, владеющего мощными техническими средствами, опытного и прекрасно информированного в данной области), — рецензент все же вправе поощрить и ободрить автора. Здесь критерий только один: если труд, предложенный тебе на рассмотрение, выполнен серьезно, с полной отдачей, то твои добрые слова заведомо не пропадут понапрасну. Так ли это — как правило, бывает ясно с первых же страниц.

Но бок-о-бок с той, первой, идет и иная власть: *отнять у человека уверенность в себе*, обескуражить его, огорошить. Ею также можно воспользоваться в любой ситуации, применить к любому труду. Эту власть (ведь она возникла не вчера и не третьего дня!) применил в свое время Коши по отношению к Галуа, а Гаусс — к Якоби. Наши грозные знаменитости никогда не пренебрегали силой своего оружия. Если эти два случая дошли до нас, не затерявшись в истории, то лишь потому, что у жертв высочайшего произвола на этот раз оказалось достаточно веры в себя и в математику, чтобы противостоять вердикту сильнейших мира сего (математического мира, более конкретно). Якоби подыскал себе подходящий журнал и опубликовал в нем свои идеи. Что же до Галуа, то ему послужили таким «журналом» страницы его последнего письма.

Сравнительно с прошлым столетием, малоизвестному математику в наши дни стало еще труднее добиться себе признания. И та власть видного ученого, о которой я говорил, сейчас вышла за грань сферы чисто психологической. На практическом уровне, это власть принять или отвергнуть чужой труд, то есть дать согласие на публикацию работы или в нем отказать. Прав я или нет, но мне представляется, что в «мое время», в пятидесятые и шестидесятые годы, такой отказ еще не был бесповоротным. Если в работе содержались результаты, «заслуживающие интереса», то автор всегда имел возможность добиться одобрения ее к публикации у другой знаменитости. Сегодня на это уже нельзя рассчитывать — при том, что найти хотя бы одного влиятельного математика, который согласился бы (дай Бог, чтобы в хорошем расположении духа!) просмотреть работу молодого автора, не заручившегося загодя солидной рекомендацией, стало намного сложнее.

В последние годы я видел не раз, как выдающиеся, влиятельные математики пользовались своей властью, чтобы «осадить» молодого автора, закрыть ему дорогу вперед. При этом отказ получали как большие, серьезные работы, которые, в интересах науки, кто-то так или иначе должен был сделать, так и смелые, яркие труды, где размах авторской идеи выдавал в нем оригинальность мышления и силу таланта. Было

несколько случаев, когда человек, так распорядившийся своей неограниченной властью, оказывался одним из моих бывших учеников. Это — едва ли не самое горькое из всего, что мне как математику довелось пережить.

Но я снова отступаю от темы. Моя цель — разобраться в том, как я сам распоряжался своей властью в те времена, когда роль видного математика на научной сцене мне отнюдь не претила. Надо отметить, что после 1970 года, когда моя научная деятельность во всех своих аспектах переместилась на более скромный уровень, власть эта до конца не исчезла. Я стал преподавать в провинциальном университете, где мои студенты и ученики по-прежнему в какой-то мере от меня зависели. Кроме того, некоторые молодые авторы все еще присылали мне свои работы (хотя, конечно, гораздо реже). Но отложим это: для моей настоящей цели имеет значение лишь период до семидесятого года.

Что до моих отношений с учениками, то здесь, думается, одну вещь я мог бы сказать без каких бы то ни было оговорок. С той самой минуты, когда ко мне пришел мой первый ученик, и вплоть до сего дня, я неизменно старался сделать все, что в моих силах, чтобы прибавить им уверенности в себе на той дороге, которую они для себя выбрали (^{23^{iv}}). Даже в наши дни в отношениях между учеником и его научным руководителем это редко бывает иначе. «Наставники», располагающие средствами привлечь к себе самых одаренных учеников и хорошо подготовить их — с тем, чтобы в работе по освоению целинных земель математики заручиться поддержкой надежных помощников, — конечно же, особенно заинтересованы в том, чтобы молодые люди не теряли веры в свои силы. Но все-таки, хотя это и кажется невероятным, встречаются у нас авторитетные наставники, находящие удовольствие в том, чтобы подрывать такую веру в своих собственных учениках. Такие «учителя» стараются во что бы то ни стало загасить в чужой душе тот самый огонь, ту страсть, что сжигала в юности их самих. Бог весть, что за радость охватывает их при виде потухшей искры.

Но я снова отступаю от темы! Моя задача — с воспоминаниями наедине, прояснить для себя свои отношения с молодыми учеными, которые *не были* моими учениками. А ведь это уже совсем иное дело: в отличие, скажем, от удач ученика, успех постороннего человека нимало не льстит твоему самолюбию. Наоборот: когда видному ученому недостает настоящей душевной щедрости, разнообразные силы эгоистического толка почти неизбежно толкают его на то, чтобы огоршить чужака, отказать ему в одобрении. Думается мне, есть такой общечеловеческий закон —

не больше, не меньше: честолюбивые желания, стремления доказать или подчеркнуть свою собственную значительность в этом мире, легче и полнее всего утоляются за чужой счет. Втайне, про себя, каждый знает, что возможность огорчить ближнего или даже унижить его прибавляет сладости любой власти; оказать же ему поддержку было бы намного скучнее. Этот закон проявляется с особенной резкостью под влиянием определенного рода чрезвычайных обстоятельств — на войне, например, или там, где много людей насильно собирают на маленькой территории: в тюрьмах, в психиатрических лечебницах, и даже в обыкновенных общих больницах в такой стране, как наша... Но и в самой что ни на есть повседневной обстановке каждому из нас доводилось видеть своими глазами, как действует этот закон. В обыденной жизни его ограничивают рамки сугубо *культурного* толка: в каждой культуре, в каждой среде формируется общепринятая точка зрения на то, какое поведение считать «нормальным» или «допустимым». Эти ограничения, конечно же, совсем иной природы, чем силы, играющие на нашем самолюбии. Откуда они вообще берутся? Игру тщеславия в нас может усмирить, например, простая симпатия к какому-нибудь конкретному человеку; еще лучше помогает общая установка на доброжелательность. Есть люди, для которых естественно радушно встречать всякого, кто бы ни пришел к ним с просьбой или с вопросом. Но таких встретишь нечасто; они — настоящая редкость в любой среде, в любом окружении. И, какова бы ни была природа пресловутых ограничений, то есть заслонов против разрушительных стихий тщеславия в нашей математической державе, за последние два десятилетия они, на мой взгляд, изрядно поизносились. Во всяком случае, везде, где я проходил, оглядываясь по сторонам, на месте былых крепостей стояли развалины.

Решительно, я поставил себе целью как можно дальше уйти от собственной темы! Мое размышление о самом себе и о моих отношениях с начинающими учеными, не работавшими под моим руководством, чуть было не превратилось на этих самых страницах в обзорную лекцию о нравах нынешнего столетия. Нравы нравами, но все же я думаю, что «закон», о котором я упомянул немного выше, в моих собственных отношениях с младшими математиками не проявлялся. Похоже, что у меня тщеславие (которого во мне было сколько угодно, никак не меньше, чем у других) вообще выражалось как-то иначе — я хочу сказать, не за чужой счет. (Я помню только один случай, из раннего детства, когда у меня была возможность самоутвердиться, унизив другого, и я ею воспользовался.) Тому есть свои причины, останавливаться подробнее на

которых здесь, пожалуй, не место. Думаю, что, перебравши в памяти соответствующие воспоминания, я мог бы сказать, что мое отношение к другому человеку при прочих равных основывалось на доброжелательности. Когда я мог, я всегда старался помочь, поддержать, ободрить. Даже в своих отношениях с уже упоминавшимся «терпеливым другом», несмотря на их глубокую амбивалентность, я никогда не забывался до такой степени, чтобы ему (хоть бы и невзначай) навредить. (Я вполне мог бы это сделать, причем, как говорится, с полным сознанием своей правоты.) И мне кажется, что, если говорить о моих контактах с обитателями математического мира, я в целом придерживался в них все той же позиции общей доброжелательности. Конечно, она могла быть немного поверхностной — но это уже другой разговор. Во всяком случае, она в полной мере распространялась и на молодых, начинающих математиков. Независимо от того, были ли они в числе моих учеников, в случае нужды они могли рассчитывать на мою поддержку и поощрение.

Думаю, что именно так, без каких-либо оговорок, дела обстояли в пятидесятые годы — и вплоть до начала шестидесятых. Мне кажется, что в те времена я был, по возможности, приветлив со всеми — и не только с такими явными, ослепительно яркими юными талантами, как, скажем, Хейсуке Хиронака или Майк Артин (впрочем, к тому моменту они и сами, с точки зрения статуса в научном мире, ничем не выделялись, так что их имена, конечно, еще не были на слуху). Но не исключено, что позднее, в шестидесятые годы, тщеславие, войдя в силу, стало подтачивать мои прежние установки. Самому мне сейчас об этом трудно судить, и если бы кто-нибудь из тех, кто тогда имел со мной дело, помог мне разобраться в воспоминаниях тех лет, я был бы ему очень признателен.

Пока что мне ясно вспоминается только один случай, свидетельствующий о том, что моя всегдашняя установка на доброжелательность в шестидесятые годы всерьез пошатнулась. В остальном — пресловутый «туман», смутные образы из прошлого. Картина выходит расплывчатой, «нащупать» в ней сколько-нибудь конкретные образы невозможно. И все же от нее остается некое общее впечатление: в нем — все тот же намек на тогдашнюю перемену в моей внутренней позиции. В борьбе с собственной памятью я как бы заново пережил определенное раздражение, которое в то время испытывал всякий раз, когда кто-нибудь посторонний (из математиков) без спроса «забирался в мой огород» и принимался неумело хозяйничать на моей территории. Взгляните: он явно чувствует себя как дома, этот молокосос! И впрямь, подобные вещи, как правило, случались только с молодыми, начинающими математиками.

Еще не слишком ясно представляя себе общую ситуацию, кто-нибудь из них нет-нет да и вздумает переоткрыть то, что мне уже много лет как было известно. Не то, чтобы это происходило слишком часто: всего два-три раза, наверное; возможно, четыре — за точность не поручусь. Как я уже говорил, мне хорошо запомнился только один такой случай — вероятно, потому, что одна и та же история повторилась тогда, немного меня форму, несколько раз, причем с одним и тем же молодым математиком. Должен сказать, что этот молодой ученый (университет, при котором он работал, находился в другой стране) вел себя во всех отношениях безупречно. Я считался ведущим специалистом в той области математики, из которой он почерпнул свою тему; поэтому, закончив свою работу, он послал ее мне. Так он делал несколько раз; я же, по причине, упомянутой выше, всегда отвечал ему довольно прохладно. Не могу вспомнить, сказал ли я ему откровенно, что в этих работах он переоткрыл то, что мне было известно Бог весть с каких времен, и что мне по этой самой причине досадно его намерение опубликовать их, даже не упомянув моего имени в предисловии. Разумеется, будь он моим учеником, мое авторское самолюбие в такой ситуации уже не выиграло бы. Во-первых, между нами уже установились бы достаточно теплые отношения, чтобы можно было не замечать мелочей. А во-вторых, ведь со всех точек зрения более чем естественно, что в работе ученика должны содержаться идеи его научного руководителя — по умолчанию, если не оговорено обратное! Но он был человеком со стороны, а это, конечно же, меняет дело. Так что оба раза (а может быть, ситуация повторялась трижды, не помню точно), когда он посылал мне свою работу в ожидании комментариев, я отвечал ему в равно холодной и обескураживающей манере. Если не ошибаюсь, я ни разу не согласился как рекомендовать статью этого ученого к публикации в научном журнале, так и войти в состав жюри, когда он защищал свою диссертацию (кажется, я припоминаю, что такой вопрос тоже поднимался). Это выглядело так, как если бы я над ним откровенно насмеялся. Вдобавок ко всему, работы, которые я от него получал, были вполне осмысленными и полезными с математической точки зрения. Думаю, что они были выполнены тщательно, с настоящим душевным усердием. И уж во всяком случае у меня нет ни малейших оснований предполагать, что идеи, развиваемые в этих работах, он позаимствовал из чужой головы. Да, у меня они появились намного раньше — но в то время они еще отнюдь не «носились в воздухе». Они считались (более или менее) «хорошо известными» лишь в самом узком кругу математиков, который составляли Серр, Картье, я и

еще один-два человека. И для меня остается совершенно непостижимым то, что этот молодой ученый (он, конечно, в конце концов защитился и нашел себе хорошее место в одном из университетов) продолжал ко мне обращаться — несмотря на то, что я с ним всякий раз так «холодно обходился». Кажется, он на меня совсем не сердился. Я даже припоминаю, как он однажды выразил мне свое удивление перед тем, что я так старался держать его на расстоянии; очевидно, он просто не понимал, что происходит. И, наверное, он в самом деле очень старался понять, если спросил моих объяснений! На вид он казался совсем юношей; у него была красивая голова, наводившая на мысли об античной скульптуре. Черты лица — скорее мягкие, неброские, из тех, что свидетельствуют о внутренней, душевной умиротворенности их обладателя... Сейчас, когда я впервые попытался передать словами свое общее ощущение от его лица — и от характера, от того, как он себя держал — я вдруг понял, что он был очень похож на моего «терпеливого друга», того самого, о котором я уже говорил. Они, кажется, могли бы быть братьями — мой приятель и ровесник, по характеру такой весельчак, и тот юноша, двадцатью годами младше; он, пожалуй, выглядел серьезнее, но унылым его уж точно не назовешь. Не исключено, что это странное сходство сыграло свою роль в нашей истории: обезоруженный проявлениями самой искренней дружбы со стороны первого из них, я перенес свое (незаслуженное!) пренебрежение к нему на второго — в общем, незнакомого мне человека. А ведь, если судить беспристрастно, он был, без сомнения, очень приятный, располагающий к себе юноша; он лишь старался сделать, как лучше, и никогда не позволял себе быть навязчивым. Каким же я стал толстокожим за эти годы, если его искренность и прямодушие не тронули меня тогда, не растопили ненужного льда между нами. Он обратился ко мне, говоря доверчиво и открыто; у меня же не нашлось для него простой улыбки...

32. Этот случай (теперь, когда я, наконец, дал себе труд черным по белому изложить происшедшее на бумаге) представляется мне весьма существенным. Нет сомнений, что моя внутренняя установка на доброжелательность и уважение к собеседнику становилась в те годы все более шаткой и ненадежной под влиянием набиравшего силы тщеславия. И та история с молодым ученым, по незнанию «вторгшимся в мои владения», быть может, лучшее тому свидетельство. Еще раньше я упоминал о трех других (очевидно, типичных) случаях в моей жизни, когда мое самолюбие, разыгравшись, явно восторжествовало над естествен-

ной, природной доброжелательностью. Но этот последний, четвертый, отличается тем, что на сей раз в моих руках была реальная власть, и я ею воспользовался. Я мог бы поддержать молодого ученого — и предпочел его огоршить, отказавшись рекомендовать к публикации его труд, который, однако, отвечал всем научным стандартам. Подобный поступок нельзя назвать иначе, как открытым *злоупотреблением властью*. Пускай он не подпадает под статью уголовного кодекса; акт злоупотребления налицо, и ошибиться на этот счет невозможно. К счастью, общая обстановка в научном мире была в те годы мягче сегодняшней, так что молодой ученый все же смог (думаю, без особого труда) опубликовать свою работу. Кто-то принял его приветливей, чем я, и не отказал ему в заслуженной рекомендации. Его карьера, в общем, не пострадала от моей необоснованной выходки. Постфактум, как говорится, я очень этому рад, хоть и не ищу здесь для себя «смягчающих обстоятельств». Не исключено, что в более жестких условиях я дал бы себе труд подумать о возможных последствиях моего отказа — но ведь это всего лишь предположение, а предположить можно все, что угодно. Мне кажется, что, хоть я и был тогда раздражен, сознательного желания навредить «обидчику» у меня все же не было. Я действовал без какого-либо тайного умысла, просто не задумываясь. Чисто рефлекторная реакция на раздражитель, и при этом никакого желания понять, отчего же, собственно, сработал злосчастный рефлекс. В полной мере распорядившись своей властью, я, однако, не отдавал себе отчета в том, насколько она реальна, и какие явления социального толка за ней стоят. Это — типичный случай *безответственного поведения*, с каким в научном мире (да и вообще повсюду) сталкиваешься на каждом углу.

Возможно, что подобных историй тогда со мной было несколько; если мне запомнилась только одна, значит, она чем-то особенно выделялась среди прочих. Общая тема ясна: какой-то «первый встречный», не испросив разрешения, выходит на охоту в твои угодья, и возвращается с дичью, принадлежащей по праву лишь тебе, хозяину этих мест... Неловко затронутое самолюбие разыгрывается вовсю, и тогда — какая уж тут доброжелательность! Свое раздражение перед неосторожностью неопытного юнца всегда можно объяснить самыми благородными причинами. И впрямь, дело не в моих личных обидах: любовь к искусству, к самой математике, вот что сейчас мною руководит! Будь еще этот юноша гением, его рассеянность можно было бы как-то извинить. Но куда там, он просто неуклюжий браконьер. Этим он опасен всем нам; да что там, пусть бы он придумал что-нибудь новое или хотя бы сделал

что-то иначе, лучше, чем я. Так ведь нет: он, извольте видеть, «открыл» какие-то пустяки, уже сто лет как мне известные; я и объявить-то о них в свое время не потрудился. Экая, в самом деле, бесцеремонность... И, конечно, то там, то здесь, с неизменной настойчивостью, лейтмотивом всплывают мыслишки меритократического толка: на мои работы вправе ссылаться лишь лучшие из лучших (такие, как я) — или, по крайней мере, молодые люди, заручившиеся поддержкой кого-нибудь из знаменитостей. (Конечно, случись кому-нибудь из «китов» самому забрести в мои владения, я едва ли поведу себя чересчур гостеприимно — но ведь это же совсем другое дело. К тому же, подобные вещи вообще происходят намного реже. Раз на раз не приходится, и одной заботы в день нам с лихвой достаточно.) В истории с тем молодым ученым была, без сомнения, по крайней мере одна особенность, выделявшая ее из числа прочих. Где-то на подсознательном уровне во мне скрывалось отвращение к определенному типу человеческого характера. Оно исподтишка проникло в мои отношения с «терпеливым другом» с первых же дней нашего знакомства. Еще от матери я унаследовал известные представления о том, что такое «мужественность»; вместе с тем, в характере моего друга — как и среди личных свойств того молодого математика — явно ее недоставало. Все это мне полезно понять для того, чтобы вернее разобраться в себе самом; но с точки зрения моей нынешней задачи это наблюдение, в общем, ничего не прибавляет. Ведь я завел весь этот разговор с тем, чтобы отыскать в самом себе, в своих тогдашних взглядах, в своем поведении, наконец, типичные признаки того глубокого нравственного, духовного упадка, в котором сегодня пребывает наш (впрочем, теперь уже не мой...) математический мир.

Как бы то ни было, среди всех прочих ситуаций, когда мне явно недоставало доброжелательности или уважения к своему ближнему, тот случай, который я только что исследовал, мне кажется особенно важным. И вот почему: тогда, в той истории с начинающим ученым, я пренебрег *элементарной этикой* математического ремесла ⁽²⁴⁾. В той среде, где меня приняли так радушно, когда я сам только начинал заниматься наукой — то есть в группе Бурбаки и в ближайших к ней кругах, — этика, о которой я говорю, вслух обычно не обсуждалась. Но при этом ее живое присутствие ощущалось ясно; правила ее, для всех равно священные, опирались на всеобщее негласное соглашение. Насколько я помню, только один человек при мне четко и ясно сформулировал их в разговоре. Это был Дьедонне. Беседа об этом зашла, когда я (в один из первых своих приездов) гостил у него в Нанси. Не исключено, что он впоследствии

еще несколько раз возвращался к тому же вопросу. Очевидно, ему это казалось важным; я и сам, должно быть, почувствовал тогда, как много значения он придавал этой теме, если не забыл его слов за добрых тридцать пять лет. Мои старшие коллеги обладали для меня непререкаемым моральным авторитетом, а Дьедонне тогда как бы говорил от имени всей группы. Этого для меня было достаточно, чтобы все услышанное, без оговорок, взять на вооружение. Однако же я сам ни тогда, ни после, ни разу не задумался над тем, почему, собственно, так важно соблюдать эти правила. Я, по правде сказать, вообще не видел для себя смысла в подобных размышлениях: ведь у меня никогда не было сомнений в том, что от родителей, людей — кто посмеет это оспорить — безукоризненной нравственности, я унаследовал все необходимые установки на честность, ответственность за свои поступки и проч. Все это — надежные позиции, прекрасные и проверенные во всех отношениях; исходя из них, я просто не могу ошибиться ⁽²⁵⁾.

Дьедонне тогда не слишком распространялся; долгие речи были вообще не в ходу в среде Бурбаки. Должно быть, он обронил свое замечание мимоходом, как нечто само собой разумеющееся. Он всего лишь сделал упор на простейшее, самое безобидное с виду правило: *всякий, кто получит научный результат, заслуживающий интереса, должен иметь право и возможность его опубликовать, при том единственном условии, что этот результат еще нигде не опубликован*. Таким образом, даже если данный результат кому-то уже известен, но еще не появлялся в печати, любой человек со стороны, получивший его своими средствами, волен его опубликовать. Да, «любой» здесь вполне может означать «первый встречный»; да, его способ освещения проблемы может показаться ограниченным тем зрелым математикам, которые давно уже «в курсе дела» и не в пример лучше разбираются в нем... Но если они при этом в свое время не потрудились записать черным по белому свои соображения на этот предмет — тогда они не вправе помешать пресловутому «первому встречному» выступить в печати со своей точкой зрения на данную проблему. Кажется, я припоминаю, что Дьедонне добавил тогда: отказавшись от этого правила, мы тем самым открыли бы лазейку новым, худшим злоупотреблениям. Кажется, именно в тот раз я услышал от него историю о том, как Гаусс в свое время отклонил работу Якоби (под тем предлогом, что идеи, изложенные автором, самому Гауссу были давно известны).

Это простое правило — существенная поправка к «меритократической» позиции, на которой, вообще говоря, стоял не я один. Дьедонне,

как и другие члены группы Бурбаки, были не менее склонны встречать человека «по заслугам». В соблюдении этого правила — гарантия *честности*. С радостью отмечаю (на основании всех откликов из большого мира, долетавших ко мне до сего дня), что профессиональная честность членов-основателей группы по-прежнему безукоризненна ⁽²⁶⁾. И утверждаю, что другим математикам, позднее вошедшим в состав Бурбаки (или обретавшимся поблизости, в той же научной среде) не удалось пронести ее через годы, не покоробив. Я и сам ее не сберег.

Этики, о которой мне говорил Дьедонне — в деловых выражениях, безо всякой рисовки — в качестве этики определенной научной среды больше не существует. Точнее, утратив честность, как душу, сама среда рассыпалась в прах. В ком-то честность все же сохранилась; кто-то обрел или обретет ее вновь. В духовной жизни того или иного из нас решающие моменты связаны с ее уходом или возвращением. Но общая сцена уже переменялась неузнаваемо. Среды, принявшей меня когда-то и ставшей для меня как воздух, среды, принадлежностью к которой я втайне гордился, больше нет. Этику, молчаливо управлявшую ее жизнью, в какой-то момент вдруг стали открыто отрицать — на практике, в теории, щеголяя своими новыми кредо. Но задолго до этого она незаметно умерла во мне самом — или по крайней мере отступила неведомо куда под натиском сил совершенно иной природы. Я мог удивляться, возмущаться произволом, гулявшим вокруг, лишь по невежеству; намеренному, потому что я и не хотел ничего знать. То, что я слышал издавка о новых законах среды, бывшей когда-то моей, несло мне весть обо мне самом. Я же предпочел отложить письмо, не раскрывая конверта.

33. Говорить о правилах профессиональной этики имеет смысл лишь тогда, когда за ними стоит определенная внутренняя позиция. Нет такого закона, который заставил бы тебя уважать своего ближнего и обходиться с людьми по справедливости, если ты сам в глубине души настроен на другой лад. Пожалуй, если обстановка в той или иной профессиональной среде построена на уважении к человеку, то эти правила, единожды сформулированные, помогают ее закрепить — да и то лишь отчасти. Когда же люди теряют живую искру доброжелательности друг к другу, и в воздухе веет холодом — тогда, даже если самые благородные законы провозглашаются на каждом перекрестке, толку от них не больше, чем от потерявших силу заклятий. Самые подробные, самые тщательные толкования буквы закона ничего здесь не убавят и не прибавят.